

*Поэту Евгению Тангейзеру,
так рано и трагически ушедшему...*

***Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф
Николай Гумилёв***

Не помню, когда я впервые увидела Жерара? Даже если настойчиво перебирать в уме события десятилетней давности, не вспомню, увы...

Его образ живой ароматной дымкой незаметно вполз в нашу жизнь и, перемешавшись с воздухом, стал частью общей

атмосферы. Скорее всего, это произошло на какой-нибудь из окололитературных тусовок.

Удивительно, но по прошествии многих лет представляю Жерара с такой обострённой точностью, что звучит в голове его ломкий подростковый голос. Тихо и медленно, словно пробуя на вкус каждое слово, Жерар упивается своими стихам, как тогда, в дикой, трудной и полной надежд молодости...

На собраниях «Поэтического кафе» Жерар слыл законченным пижоном и самовлюблённым выпендрёжником. Все, конечно же, прекрасно знали, что никакой он не Жерар, а попросту Женька. Да и сами графоманские мистерии происходили вовсе не в кафе, а в читальном зале городской муниципальной библиотеки № 4 с попустительства пышногрудой директрисы, тайно пописывающей слёзные вирши.

Сообщество возомнивших себя писателями чётко делилось на два непримиримых лагеря.

1. Старая гвардия сталинской закалки, что выйдя на заслуженный отдых и случайно зарифмовав два глагола «пытать – страдать», вдруг открыла в себе невероятные, дремавшие доселе литературные таланты. Привычные к тяжкому труду ветераны принялась по-стахановски, не щадя живота своего, тоннами фанатично бурить поэтическую руду.

Пенсионеры активно напрягали общественное терпение беспомощными с поэтической точки зрения, но остросоциальными по содержанию длиннющими одами на злобу дня, что читались непременно с величайшим пафосом. Практически каждая встреча кружка единомышленников была ознаменована презентацией вновь изданной тонкой брошюры, богато иллюстрированной фотографиями из семейного альбома автора.

2. Их оппоненты: малочисленная кучка желчных непризнанных гениев, едва вышедших из подросткового возраста, но уже ощутивших всю остроту суицидальных состояний на почве униженной социумом непомерной гордыни.

Вяло кучкующийся молодняк, тяготеющий к обособленному самоистязанию, стойко держал оборону против воинствующего

дилетантизма, вооружившись багажом гуманитарных знаний, непонятым богемным сленгом и надменно-презрительным отношением к миру. Позднее, устав противостоять ретроградной косности и облегчённо вздохнув, молодое поколение массово мигрировало в обе столицы нашей Родины. Покинув провинцию, вчерашние дети вставали на взрослый денежный путь, не вспоминая более о проказах словоблудия.

Изысканный Жерар не вписывался ни в одну из группировок. Во-первых, ему было уже за тридцать, но на вид он вовсе не имел возраста, а навсегда застыл в категории «молодой человек». Для старшей возрастной категории он был слишком начитан, а от молодёжной тусовки выгодно отличался общительностью и дружелюбностью. Хотя Жерар пребывал в том деятельном возрасте, в каком никто, кроме законченных гуманитариев, не вспоминает о высокой поэзии. Тем более в годину голодных бунтов, когда шахтёры колотили касками о рельсы, а «скованное одной цепью» население было «связанно одной целью» – выжить!

То памятное лихолетие ознаменовалось соревнованием в длительности невыплаты зарплат. Частенько звучали такие диалоги:

– Да нам полгода на работе денег не платят!

– Ну, прям удивил, а мы скоро год на дядю работаем...

Какие уж тут стихи...

А у Жерара замшевый пиджак с вышитым на лацкане гербом одного из элитарных клубов Великобритании.

Местные рифмоплёты гуртом на Пушкина молятся, а этот отщепенец всё каких-то Бальмонтов цитирует... как-то всё это не по-товарищески!

Курильщики, озверевшие от никотинового голода, израсходовав талоны на сигареты «Астра», учатся крутить козы ножки с купленной на базаре махрой. А Жерарчик томно мнёт в музыкальных, унизированных кольцами пальцев янтарный мундштук с невероятно длинной и тонкой сигареткой непривычного кофейного цвета. Пыхнув пару раз мятным дымком, хозяин волшебной курительной палочки укладывает её в старинный портсигар...

Очумелым от нездешнего блеска, убогим зрителям «театра одного актёра» и в голову не могло прийти, что, откинувшись с зоны год

назад, Жерарчик живёт на пенсию старенькой мамы, сигарету выклянчил у иностранца на улице и курит её уже несколько месяцев только при большом скоплении публики. Главное – хорошенько блеснуть чешуёй!

Настоящей гордостью Жерарчика было его часто, громко и неуместно пропагандируемое сходство с молодым Пастернаком. И хоть сам Пастернак немало бы удивился столь смелому заявлению, некоторые черты были явно общими, но больше смахивали на карикатуру, чем на отражение.

Жерарчик всеми силами пытался создать имидж утончённого принца, что слишком не соответствовало бычьему нраву времени девяностых. Всё в нём было чересчур: лицо слишком узкое и смуглое, профиль слишком горбонос, тёмные кудри слишком длинные, слишком начитан, манерен, рафинирован – весь на изломе, нервный, восприимчивый – с неба упал...

Идеалом мужской красоты тех недалёких, но старательно забытых лет, был брутальный лысый качёк в малиновом пиджаке с золотой цепью на шее (и то, и другое – бычье), вместо мозгов – гиря. Кстати, они у нас вот такие – самоуверенные – до сих пор весьма востребованы, только авто стали круче, пиджаки от кутюр, а вместо мозгов – всё та же гиря.

Жерарчик числился изгоем не только в среднестатистической компании, но и в стане собратьев по перу. Самое возмутительное, чего никак не могли ему простить, то, что гнусный отщепенец был явно талантлив и, несмотря на потоки желчной критики, продолжал активно фонтанировать стихами.

Особенно оскорбительным для социума стало частое издание творений психа-одиночки в периодической печати, а так же в единственном и оттого самом уважаемом литературном журнале нашего города. И это в то самое время, когда другие, несомненно, более достойные и заслуженные люди, вынуждены отказывать себе во всём и годами копить пенсию на типографские расходы.

Читать свои распевные стихи, грассируя, чуть заметно покачиваясь в такт, словно упиваясь полётом, Жерарчик мог бесконечно, влюблённо, любому встречному на улице.

Однажды ночью, удачно разродившись новым произведением и не найдя свободных ушей, он позвонил в приёмный покой больницы. С подкупающей детской наивностью без обиняков сообщил, что только что написал гениальное стихотворение, а поделиться не с кем. Его, конечно, со всей прямоотой тут же послали (в оздоровительных целях, как и положено мудрым служителям Гиппократы). Но Жерарчик поднапрягся, включив своё нездешнее обаяние на полную катушку.

Кончилось тем, что очарованные молодые врачигы прислали за ним машину скорой помощи, и поэтичный полуночник до утра развлекал их стихами и романтическими бреднями. Впоследствии Жерарчик сошёлся с одной из этих впечатлительных медичек, и они полгода снимали квартиру, естественно, на её деньги.

Вообще-то заветную фразу: «Давай поженимся!» слышали от него почти все знакомые дамы (некоторые неоднократно). В устах Жерарчика это означало: «Позаботься обо мне, пожалуйста!» или «Можно я у тебя немного поживу? Я буду мягким и пушистым, а платить за всё будешь ты...»

Но сколько ни оттачивал Жерарчик в себе аристократизм, окружая собственную персону флёрот загадочности, всё же слухи о его судимости доползли до кругов пишущей братии. В нашем городе, где нет метро, сплетни мчат быстрее вагонов подземки. Поговаривали, что под судом Жерарчик побывал не единожды и сидел в общей сложности четырнадцать, а то и все шестнадцать лет.

Сногсшибательная новость имиджу «принца в изгнании», надо сказать, совсем не вредила, а наоборот, только добавляла трагизма одиозной фигуре. Ведь глядя на утончённые манеры рафинированного юноши, бесконечно цитирующего поэтов серебряного века, невозможно было даже предположить в нём зека-рецидивиста! А вот образ страдающего по ложному обвинению в кандалах перед эшафотом подходил Жерару как нельзя лучше. Тем более, что ни на какие провокационные вопросы местный граф Монтекристо не отвечал.

Хотя многое становилось объяснимо: эйфория жизнелюбия вернувшегося с войны, несовременно возвышенное отношение ко всем без исключения женщинам. И даже вечная повязка на левой руке, видимо, скрывала не шрамы от перерезанных на почве несчастной любви вен, а банальные лагерные татуировки, что не вязались с авторской трактовкой собственного образа.

Но всё же, главным даром Жерарчика была даже не поэзия, а необычайная психологическая гибкость – талант влезть под шкуру до уровня мимикрии. Он мог расположить к себе любого. Говоря с человеком, Жерар отчасти сам становился собеседником. Пойманный в сети визави неизменно попадал под чары и уж не уходил без платы. Всё шло в дело, Жерарчика угощали, привечали: там чашка кофе... тут денег в долг без отдачи... с паршивой овцы хоть шерсти клок.

Видимо, многолетняя отсидка в местах заключения сказывалась – выжить любой ценой, приспособиться к любым условиям и людям. Из Жерарчика вышел бы отличный агент-вербовщик. Каждого, кто встречался на пути «разведчика», тот рассматривал с точки зрения: годен, иль не годен в дело, и что с него можно поиметь: «Помоги-ка мне. Защити. Накорми. Да и вообще, чем ты можешь быть полезен? Дай-ка пощупаю тебя...»

Вербовал мягко, вкрадчиво, но не на вражескую разведку, а лишь с праведной целью обеспечить выживание собственного гения в агрессивной среде. Главное, чтобы у благодетеля возникало ощущение гордости оттого, что помог он не простому попрошайке, а венценосному возлюбленному муз, поцелованному Создателем, а значит, совершил великое гуманное благодеяние во славу прогресса человечества.

Я, как существо низшего порядка, для великих гуманистических акций во имя спасения гения не годилась, так как была нищей училкой, матерью-одиночкой с ребёнком-инвалидом на руках и старенькой бабушкой впридачу, да плюс ко всему ещё из армии конкурентов, пишущих в рифму, и, соответственно, жаждущих славы, денег и где бы напечататься. Взять с меня было нечего, поэтому со мной у Жерарчика установились прохладные и (на всякий случай) доброжелательные отношения.

Мужское его обаяние на меня, увы, не действовало, и оттого, рассудил Жерар, обращаться ко мне можно запросто, как к давнему товарищу, без экивоков. Например, почему бы, идя мимо моего дома, не заскочить в гости:

– Привет, майн либэ кицен. Можно, я у тебя в туалет схожу, не дай случиться катастрофе. И ещё, плииз, водички попить, в горле засуха! А у тебя ничего покушать нет? А то я сейчас упаду в голодный обморок. Умру – на твоей совести будет смерть

молодого гениального поэта. Скажут: погиб поэт, невольник чести, а всё ты виновата. Слушай, займи копеечку, а то и не знаю, как до дома добираться буду... А?!

До такой изнанки допускались немногие доверенные лица, ведь для широкой публики – надменная томность, перстень на мизинце, пространные размышления о куртуазном маньеризме.

Гораздо позднее, я приобрела в глазах Жерара несомненно большую ценность, став редактором отдела поэзии. Правда сие обстоятельство не остановило его на пути к туалету и холодильнику в моей квартире, но теперь это делалось под каким-либо благовидным предлогом:

– Мон ами, прилетел на крыльях любви с тем лишь, чтобы поздравить тебя с Международным Днём объятий! Удели уан момент, послушай, какой я по этому поводу стих написал, – мягко воркует Жерарчик со сладчайшей улыбкой, заглядывая в глаза. Изображая детское смущение, протягивает веточку, сломленную у подъезда.

И неважно, что стихотворение вовсе не про объятия, я всё равно обнимаю его острые худые плечики, не сдерживая восторга от строк, наполненных светлой тоской и поэзией.

Однажды наивная и нежно любящая бабушка не в силах более наблюдать моё тотальное одиночество, осторожно поинтересовалась:

– Доча, а на твоей работе какие-никакие мужуки-то неженатые есть?

– Да в основном только они-то и есть – никакие. А что?

– Ну, а чего ты не окрутишь там кого?

– Бабушка, да ты о чём говоришь? Они ж писатели! – вскипела я, но бабуля в искреннем непонимании продолжала стоять на своём.

– Э-эх, ну в кого ты только кулёма такая полоротая? Баба твоя в молодости – огонь была! Нашла б себе там кого получче, да штоб в штанах, и то ладно. Вместе-то оно ведь всё полегче жизнь доживать. Смотри, доковыряисси – всех поразберут, и даже из писателей ни одного не останется!

– Да как ты не понимаешь, бабушка! Ну, ладно, раз говорить с тобой бесполезно. Скоро у меня День рождения, я тебе их всех, кто «получче», покажу. Вот кого для меня выберешь – с тем и закручу.

В условленный день я пригласила к себе потенциальных женихов на праздничное застолье. Явились все, у людей искусства особый нюх на дармовщинку. Иной раз, кажется, стоит лишь тарелкой об стол постучать, сразу из воздуха появятся: ушлый журналист Мишаня, перманентно похмельный непризнанный гений Кочкин, парочка бардов – неразлучников Толик и Костик, и другие члены литературного актива.

Каждый подарил по своей книге с автографом, и лишь Жерарчик преподнёс необыкновенно изящную ассиметричную чайную чашечку тонкого китайского фарфора. Этот презент до сих пор стоит за стеклом серванта непопулярным, исключительно в декоративных целях.

Бабушка вышла к столу в самых сильных очках и принялась внимательно изучать претендентов. Судя по тому, как в течение вечера её губы всё крепче сжимались в скептической усмешке, смотрины не приносили желаемого результата. Когда же один из изрядно угостившихся вдруг затянул романс, не попадая ни в одну ноту, бабушка демонстративно встала и ушла в свою комнату. Нехарактерный для моей кроткой Золушки воинственный акт, остался незамеченным в общем творческом разгуле. Мне же теперь предстояло титаническими усилиями преодолеть архисложную проблему – выпроводить гостей...

Вердикт родительницы был коротким, но ёмким:

– Вот уж насмотрелась я, доча, на их. Нету мужука, и это не мужуки! Да лучше одной век вековать, чем с такими-то неприспособленными нянчиться.

Горький вывод о непригодности литературных деятелей к устройству семейного счастья строился на остро подмеченных бабушкой особенностях поведения:

– Да они навроде как сроду никогда не пили и не ели. Болтают, болтают. А про чё болтают? Про именинницу и не вспомнили, каждый всё только об себе, об себе... Правда, был один маленько на человека похожий, чернявенький такой, который тебе всё стихи рассказывал. Только уж шибко худой, еле живой, туберкулёзник, наверно. Да и тожа – не жилец...

У Жерарчика была определённая стадия опьянения, что называлась – «допиться до стихов», когда спадала его маска

надменной экзальтации, а загадочное молчание сменял поток стихов собственного сочинения, густо перемешанных с классикой и авангардом. Мои посиделки не стали исключением, Жерарчик самозабвенно поплыл в поэтическом потоке, чем вновь наглядно противопоставил себя раздражённо жующей компании.

– Ишь, как одеяло-то на себя тянет, – желчно заметил критик Хануманов, захватив в единоличное пользование пузатую бутылку конька.

Как законченный алкоголик пьёт и не может остановиться, пока не померкнет последний луч в его сознании, так и Жерар читал-читал-читал стихи, иступлённо впадая в раж. И ему уже неважно было, как реагируют на него люди и слушают ли вообще, главное, чтоб из его горла потоком текла в мир поэзия...

Пытаясь стать хоть как-то замеченными, и может даже (прости, Господи, за наглость!) заработать деньги стихами, мы, как многие молодые и рьяные, сбивались в стаи. Самонадеянно решили насаждать наше искусство насильственно, раз добровольно нас никто знать и слушать не желал.

Я, Жерарчик и неистовая поэтесса Карина Вартанян примкнули к широко известной в узких кругах музыкальной группе «Последнее воскресение». Четверо молодых парней играли этнический рок, призывающий к медитации и созерцательному существованию, что очень неожиданно сочеталось с нашими надрывными стихами о несчастной любви.

Импозантный лидер-вдохновитель «последних воскресенцев», косивший под Джона Леннона, имел связи в раскрученных ресторанчиках с живой музыкой и в единственном ночном клубе «Подземелье».

Наскоро скототив претенциозную программу «И всё любовь...», мы с энтузиазмом ринулись косить по значным местам, не брезгуя при этом студенческими аудиториями и пенсионерскими сборищами при крошечных библиотеках на окраинах нашей «столицы мира»*. (*«Барнаул – столица мира» – роман Сергея Орехова)

Дело пошло бойко, хоть и платили нам жалкие копейки, зато раз, а то и два в неделю мы имели счастье демонстрировать своё искусство публике. В основном эти выступления посещали наши же знакомые (с целью потусоваться, а не слушать про то, что всё

любофф...) при условии, что их пропустят бесплатно. Несмотря на явную нерентабельность нашей концертной деятельности, получали мы очень многое: адреналин закулисных волнений, аплодисменты и огоньки интереса в глазах зрителей, бесценный опыт публичных выступлений и огромное, ни с чем несравнимое удовольствие от самого процесса и возможности поделиться светом своей души. Из-за частого чёса в клубе, нашу банду вскоре прозвали «Дети Подземелья». Особо врезалось в память первое и оттого ответственное выступление в Мекке местного андеграунда.

«Любофф» уже пора было начинать, несмотря на то, что на концерт купили только четыре билета – зал переполнен и заметно волнуется.

Жерарчика нет.

Тянутся бесконечно долгие десять минут...

Карина медитирует у окна.

В кассе куплен пятый билет.

Жерарчика нет!

«Последние воскресенцы» флегматично разминаются портвейном и тренькают на гитарах, с каждой минутой заметно кося.

У меня тихая истерика.

Карина с непроницаемым лицом индейца пытается дозвониться до потеряшки.

Тянутся бесконечно долгие двадцать минут.

Беря во внимание буйный подростковый характер подавляющей части наших поклонников, очевидно, что совсем скоро может начаться стихийный митинг незаметно переходящий в оргию.

– Жерар – это наше слабое звено, – уверено и безапелляционно заявила Карина, а ей, как инструктору йоги и клиническому психиатру, несомненно, виднее. Но виднее ей было ещё и оттого, что она первой заметила в окно Жерарчика, приближающегося нетвёрдой походкой с недопитой полторашкой пива в руке.

Виновник моего микроинфаркта, заранее изобразив глупую заискивающую улыбку, ввалился с пьяной вальяжностью, когда народные волнения грозили перейти в бунт. Времени на избиение младенца уже не оставалось.

По сценарию перед экспрессивной песней рокеров о неминуемом конце света должна была прозвучать поэтическая композиция

Карины и Жерара, где они дуэтом читали стихотворение о любви. По ходу пьесы, Карина спрашивала:

– Любимый, где ты?

– Любимая здесь, – должен был вдохновенно отозваться Жерарчик.

Причём согласно сценарному плану из полной темноты их должен поочерёдно выхватывать яркий световой луч. Надо ли говорить, что всё это уже было отрепетировано до автоматизма.

В разгар действия, когда нам не без труда, наконец, удалось завладеть вниманием и расположить публику к сочувствию, настал момент душераздирающего апогея – поэтического диалога.

Прочитав, как положено лирическое вступление, Карина спрашивает:

– Любимый, где ты?

Прожектор высвечивает угол, где якобы находится Жерарчик, но кроме обшарпанной стены и не совсем чистого пола с сиротливым окурочком в чётко очерченный круг света ничего не попадает!

Прожектор – на Карину, та не получив ответа, словно так и было задумано с усилением надежды в голосе повторяет вопрос:

– Любимый, где ты?!

Световой луч начинает шарить вдоль стены, заглядывает в соседний угол и, не найдя любимого возвращается к Карине. Уже без напускного актёрского пафоса, а с заметной долей беспокойства она искренне вопрошает:

– Любимый! Где ты?! – её заинтересованность передаётся залу. Уже всем и каждому хочется узнать, куда же, в конце концов, смылся этот ветреный любимый... (?!)

Но, видимо, ясно осознав, что в наш век бессмысленно надеяться на слабохарактерных мужчин, Карина пришла к выводу, что самый главный любящий человек сокрыт в нас самих. Короче, тщетно поискав любовь вовне, мудрая восточная женщина нашла её внутри себя:

– Любимая здесь, – обречённо ответила сама себе находчивая Карина. Но упорный световой луч, не успевая за напряжённой духовной жизнью инструктора йоги, затормозив, не перескочил на Карину. Зато ему удалось обнаружить... кого бы вы думали...

Не потерявший всё это время надежды луч ослепительного света всё же осветил противоположный угол. Взору ошеломлённой

публики предстала картина поистине эпического трагизма личных отношений героев.

Истощённый пьяненький возлюбленный в испачканном извёсткой пиджаке сидел по-жигански – на кортах – с запрокинутой, как у горниста, головой, допивая из горла полторашку.

Аплодисменты!!!

Бурная концертная деятельность всё ж таки возымела действие – нас заметили! И ни кто-нибудь из напыщенных графоманов, а самые что ни на есть профи, очленённое братство владельцев красных корочек эзотерического Союза магов и волшебников.

Нас троих: меня, Карину и Жерарчика, – пригласили в литстудию при писательской организации. Урра!!! Мы причислены к касте избранных!

Эта знаменитая студия уже не один год поставляла новое пополнение в благородные ряды рыцарей быстрого пера. Руководил школой волшебников великий и ужасный магистр рифм и аллитераций, поэт-людовед Иван Разрываев. Внешне он напоминал доктора Чехова, продавшего по случаю душу Дьяволу, только вместо пенсне – очки с толстыми стёклами.

Своей сверхзадачей Иван Маркович почитал, во что бы то ни стало, отбить у молодой поэтической поросли всякое влечение к сочинительству. О его таланте «раскатывать» рукописи, а заодно и авторов ходили легенды.

– Если хоть один из вас бросит писать стихи, значит, я прожил свою жизнь не зря, – любил поговаривать мудрый наставник.

Эффект, правда, получался совершенно противоположный. Слабаки, конечно, после первого же разбора понимали, что абсолютно бездарны, опускали руки и возвращались к нормальной счастливой сытой жизни простых незамороженных обывателей. Совсем другое дело с теми, кто уже успел пристраститься к Вдохновению – одному из самых сильных наркотиков в подлунном мире. У «вкусивших» было два выхода: либо научиться бороться за своё право на место под Солнцем и стать в этой жизни настоящими победителями, либо... гениальными поэтами.

Замечания мэтра были столь едкими и убийственно аргументированными, что продолжать писать после этого, было

бы просто преступлением перед человечностью; поэтому те смельчаки, что всё-таки рискнули остаться после экзекуции – первого разбора, окукливались на долгий инкубационный период. Год, два, а то и больше не брались рифмовать. За это время происходило неизбежное взросление и переоценка ценностей. Если и после этого смутьяны не успокаивались, то у них появлялся реальный шанс стать настоящими писателями, потому что после мясорубки Разрываева любой худсовет – просто робкое доброжелательное поглаживание по шёрстке.

В качестве знакомства с будущими жертвами маховика литературоведческих репрессий, новичкам предлагалось рассказать о себе и прочитать, ради общего впечатления, три стихотворения.

Первой, как самый отважный боец нашего трио, была Карина. Предусмотрительно отобрав из своего дикого, по-цыгански разгульного творчества самые спокойные перлы, лукавая комедиантка ловко имитировала плоды раздумий нормального человека, обойдясь без характерных неожиданных метафор.

Маэстро Разрываев с интересом разглядывал пол, словно там, на выщербленном линолеуме скрывались гораздо более содержательные письма. На Карину бросал короткие, как выстрелы взгляды, полные нескрываемого скепсиса. Когда пришёл момент для резюме, то мастер лишь отметил все глагольные рифмы, которые удивительным образом отпечатались в его скучающем сознании, сбой ритма, кочующие ударения и нарушения логической цепочки. К этому было ещё добавлено – отсутствие всякого смысла в прослушанной им несуразной какофонии звуков.

Следующей на арену для битья вышла я, пролепетав свои слёзные вирши о жестокой судьбе и одиночестве. На что учитель среагировал благосклонно и успокоил меня тем, что это скоро пройдёт, не уточнив, что же именно должно исчезнуть из моей жизни: стихи или одиночество? Но видимо, эти два понятия были, по его мнению, почему-то неразрывно связаны...

Жерарчик не стал следующим в цепочке казнённых Иродом младенцев. Он импозантно вышел на авансцену и с душевным

придыханием, нежно грассируя, что обзавидовался бы даже Вертинский, поднапустил обаяния, читая красивые заклинания бархатным голосом. Все зрители легко поддались гипнотическому влиянию хитреца, кроме неутомимого истребителя гнусных рифмоплётов – Разрываева.

Из трёх стихов, прочитанных Жераром, мастер выделил последнее, разбив в пух и прах два предыдущих:

– Первые были – так себе... Проходные. Ни о чём. Да и вообще, ты заставил нас себя слушать только лишь благодаря актёрству. Форсировал голосом. Дома, штоль, перед зеркалом репетировал? – мастер презрительно хмыкнул, – Но вот последнее... из этого при должном трудолюбии можно вылепить нечто на самом деле стоящее... поднимает, так сказать, над суетой, не для гордыни писано... но для вечности...

После дебюта в студии, словно после обряда инициации, мы с Кариной вышли подавленные и тусклые, будто разом постарели. А Жерарчик, не в силах сдерживать тайное ликование, загадочно посмеиваясь, полдороги интриговал нас тем, что скоро сообщит некую потрясающую новость.

Оказывается, он искал подходящий антураж. Когда мы проходили по парку, интриган вскочил на постамент, оставшийся от унесённой ветром истории, гипсовой пионерки:

– А вот теперь сенсационное разоблачение! Внимание, дамы! Из стихов, что я прочитал, первые два – Бродского, а последнее, которое Разрываев похвалил – моё! Я – гений!!! Всё, в студию можно больше не ходить.

И действительно, в студии Жерар больше не появился. А нам с Кариной пришлось пройти все круги литературного ада, положить жизнь, чтобы с полным правом называться громким именем – писатель. Тратить сбережения, нервы, силы, чтобы донести людям свои сердца, не получая ничего взамен, кроме обидных тычков, непонимания, презрения и равнодушия. После мы даже нежно полюбили нашего учителя Ивана Марковича Разрываева, поняв, от скольких бед и разочарований он хотел нас предостеречь.

А Жерар... он жил забубённой жизнью настоящего поэта – непредсказуемой, полуголодной... и свято верил в свою гениальность.

Самое страшное – это сделать горе своей профессией. И мы пошли на это, бездумно поставили на поток стихи, что рождались исключительно от невыносимого одиночества. Поэтому оно никогда не покинуло нас. А Жерарчик шёл по жизни рука об руку со своим Вдохновением. Любовался им и боготворил. Счастливчик!

В хроническом неустрое, который Жерарчик высокопарно именовал не иначе, как божественный образ жизни, случались иногда периоды стабильности. Однажды он на удивление всем устроился на работу официально, что само по себе уже было невероятно и приравнивалось к ратному подвигу. После титанических усилий над собой, пришёл в магазин рядом с домом, куда был принят одновременно дворником и чернорабочим.

Каждый день Жерар вставал в пять утра и в любую погоду «приводил в порядок свою планету». Очень скоро Жерарчик нашёл в монотонном физическом труде отраду и вдохновение. Начальник нарадоваться не мог. Но из первого же отпуска Жерарчик на работу не вернулся.

По сути дела, поэт целый год усердно мёл улицу, долбил лёд в лютый мороз и таскал мешки (в этот период он даже стихи стал писать в несвойственном ему ритме) лишь затем, чтобы накопить денег на путешествие к морю, которого не видел никогда в жизни.

До моря бедолаге не суждено было добраться. Как всегда подвела излишняя доверчивость и бездумная восторженность. Ему казалось, что коварство, насилие и вообще всё самое страшное в его жизни прошло, оставшись там, за толстыми мрачными стенами исправительной колонии. Мечта детства оборвалась самым неожиданным образом.

В дорогу вместе со скудными пожитками, записной книжкой и томиком Гумилёва, Жерарчик взял и то, что открывало, по его мнению, доступ в любую компанию, концентрированное веселье – целый стакан анаши.

В поезде Жерар познакомился с двумя модными девицами, которых тут же обаял широкими гуманитарными познаниями. В эйфории от предстоящих приключений, интуиция и благоразумие покинули его окончательно. С весёлыми попутчицами тут же распочал дьявольскую заначку... а наутро очнулся весь ободранный, в

крови, с переломанной рукой под железнодорожной насыпью. Без денег, без паспорта, и даже без дешёвого тряпчатого рюкзака. До дому добирался автостопом. Жив остался благодаря только стихам и врождённому обаянию.

Вернувшись в родные пенаты, решил, что работать больше не пойдёт, так как всё равно не может распорядиться честно заработанными грошами. Уж лучше так, как есть, болтаться, без таких приключений, хоть из поезда никто не выкинет.

Периодически Жерар прилеплялся к какой-либо одинокой даме и с наслаждением паразитировал, пока у покровительницы не кончалось терпение. Некоторые наиболее стойкие и падкие на искусство экземпляры держали у себя кудрявого домашнего питомца годами. По утверждениям самого жиголо, это он украшал жизнь несчастных леди, и они должны быть ему благодарны:
– Я наполнил её никчёмную жизнь смыслом и красотой! Ты ведь ещё не видела, как я научился расписывать обыкновенные стеклянные бутылки. Это ж шедевры!

Однако рано или поздно даже самые бесперспективные неудачницы неизменно приходили к неутешительному выводу: сколько поэта не корми, а он всё ест и ест, да и любовь имитирует только в первоначальный период отношений, пока не перевёз в квартиру домашние тапочки, а затем носится где-то с иными Музами по иным облакам.

Однажды наш ловелас отправился к очередной пассии на ночёвку с одним лишь будильником за пазухой. Как каждый творческий человек, он имел кучу разных странностей, одной из них было пристрастие просыпаться утром исключительно под настойчивые сигналы любимого будильника. Общественным транспортом, надо сказать, Жерарчик пользовался очень редко, предпочитая повсюду ходить пешком. Но дама сердца жила на другом конце города, в новом спальном районе. Автобус был переполнен. Жерарчика нещадно толкали, настойчиво давая понять, что он совершенно бесполезный элемент в социальном механизме. Но лишний человек, казалось,

вовсе не замечал раздражённых тычков и сердитых взглядов, так как совершенно сосредоточился на аудиозаписи. Наушники на улице он почти не снимал, чтобы максимально смягчить стресс от вынужденного контакта с психотравмирующей чуждой поэзии средой. Часто вместо музыки он любил слушать голоса поэтов, декламирующих свои стихи - уникальные записи «Читает автор», взятые в безвременное пользование в родной библиотеке, приютившей поэтов-кофеистов.

Со стороны зрелище он собой представлял довольно странное: сутулый измождённо худой человек явно восточной внешности, одет франтовато, несоответственно обстановке, словно с чужого плеча, погружён в себя, как помешанный, глаза полузакрыты и шепчет чего-то...

Вдруг электронный будильник неожиданно стал подавать громкие сигналы: пи... пи... пи...

Погружённый в ныряние по урбанистическим лесенкам поэзии Евтушенко, Жерар не сразу сообразил, что на него вопросительно уставился весь салон. Видя замешательство вокруг своей персоны, Жерар решил усилить неожиданный казус, зажмурившись, произнёс:

– Аллах акбар!

Толпа в ужасе отпрянула от «смертника». Вокруг Жерара сразу образовалось много свободного места. По выражениям лиц шутник понял, что оправившись после такого испуга, толпа оправдывает выражение классика о русском бунте, бессмысленном и беспощадном. Его непременно забьют ногами. Тут же некстати всплыло в сознании, что ему, как на беду, именно тридцать семь лет. А это, всем известно, роковая цифра для настоящих поэтов.

От кровавой расправы Жерара спасло только то, что автобус причалил к остановке и двери раскрылись. Террорист-неудачник юркнул наружу и припустил во дворы, пока заторможенное массовое сознание не вернулось к заложникам жилищно-коммунальной системы. К счастью никто из онемевших пассажиров не рискнул последовать во след.

Погиб Жерар неожиданно и совершенно нелепо. Сгорел в старой маминной квартире от непотушенной сигареты. Вместе с ним сгорели и все его стихи.

Говорят, поэт состоялся, если после него в памяти народной осталась хоть строчка. А мы с Кариной помним целое четверостишие, оставшееся в наследство от Жерарчика, написанное не для гордыни, а для вечности... о его неуёмной жажде любви, которую ему так и не суждено было утолить...

Хочу испить одним глотком
Семь тысяч километров Нила.
Хочу – сейчас, хочу – потом,
Хочу, чтоб ТЫ меня любила!..*

*Евгений Тангейзер (Маликов) отрывок из стихотворения «Жажда»

